

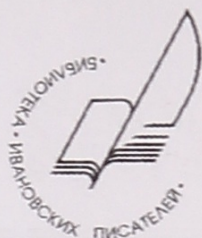
25.154к



антология

ПОЭЗИИ





БИБЛИОТЕКА ИВАНОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Выпуск 6

Редакционная коллегия:

ГЛОТОВ Е.Д.

КАПУСТИН Н.В.

ОРЛОВ Ю.В.

ТАГАНОВ Л.Н.

ЩАСНАЯ Л.И.

КР 23124
ИЗДАТЕЛЬСТВО
А 234

антология

ПОЭЗИИ



ИВАНОВО
Издательство «ТАЛКА»
2006

© Издательство «Талка» 2006
Тираж 100 экз.
© Оформление. Издательство «Талка» 2006
© Издательство «Талка» 2006

11

ББК 84(2Рос-Рус)-6
А 724

Кр 25154

*Вступительная статья, составление,
подготовка текста, биографические справки*
Л.Н. ТАГАНОВА

Художник К.Б. ВАСИЛЬЕВ



А 4702010000-001 Без объявл.
В 95(03)-06

ISBN 5-87596-072-8

© Составление, вступительная статья.
Таганов Л.Н., 2006
© Оформление. Васильев К.Б., 2006
© Издательство «Талка», 2006

0-2010

От составителя

Основой этой книги является антология «Поэзия ивановского края: 1890—1990-е годы», вышедшая в Иванове (изд-во «Талка») в 1999 году. Сейчас антология стала библиографической редкостью, что не может не радовать. Значит, поэзия была и остается той духовной потребностью, без которой невозможно открытие человеком окружающего мира, самопознание личности. Значит, поэтическое творчество талантливых земляков волнует читателей.

Новый вариант антологии охватывает более чем столетний период развития поэзии нашего края. Хронологический принцип построения книги помогает не только проследить изменение исторического мироощущения, выраженного через поэтическое слово, но и представить региональный срез каких-то важных художественных закономерностей поэзии XX века. Ведь литература минувшего столетия немыслима без К. Бальмонта, М. Цветаевой, Д. Семеновского, А. Барковой, Н. Майорова, М. Дудина и многих других поэтов. Однако не только широкая известность определяла в данном случае принцип отбора поэтического материала. В антологию вошли и авторы менее известные, незаслуженно забытые, а порой и вовсе не знакомые широкому читателю. Но их творчество необходимо учитывать при составлении большой карты русской литературы. Любое талантливое явление, независимо от его масштаба, уместно здесь, ибо поэзия, как и жизнь в целом, прекрасна своим разнообразием, тем органическим сочетанием большого и малого, без которого не существует космос культуры.

Настоящее издание заново отредактировано. Внесены разного рода уточнения и изменения. А главное — антология содержит немало новых поэтических имен, в том числе и совсем молодых, но, несомненно, одаренных авторов.

СКВОЗЬ ВОЛНЫ ВРЕМЕНИ

(К истории поэзии ивановского края)

Корни поэзии ивановского края уходят в далекое прошлое. Современные фольклористы убедительно доказывают, что Верхнее Поволжье (район Юрьевца и выше) было не только причастно к былинной традиции Великого Новгорода, но и само творило былины¹, отголоски которых давали о себе знать вплоть до нового времени. Пели и плясали в нашем крае скоморохи, веселя народ озорными прибаутками (Михаил Дудин, например, считал, что его род – из скоморохов). Фольклор бытовал и в рабочем селе Иванове, ставшем в 1871 году городом Иваново-Вознесенском. На этой народной основе и возникает собственно именная поэзия. Здесь точкой отсчета можно считать восьмидесятые – девяностые годы XIX века.

Казалось бы, в это время Иваново-Вознесенску было не до поэтического творчества. За ним закрепляется репутация «чертова болота»², черного места русской провинции. Какая уж тут поэзия! В грубом сочетании избы, фабрики, кабака, церкви, этой ивановской атрибутики нарождающегося российского капитализма, поэтическое слово должно было задохнуться от недостатка воздуха. Не задохнулось! Пример тому – стихи поэта, которыми открывается наша антология.

Сергей Федорович Рыскин. Имя, большинству читателей мало что говорящее. Только специалистам известны обстоятельства жизни и творчества этого поэта, выпустившего при жизни единственную книгу стихов, позднее никогда не переиздававшуюся. Пришло время отдать должное нашему замечательному земляку.

¹ См., например: Смирнов В.А. Былинная традиция в Верхнем Поволжье // Волга. 1997. № 5–6.

² Так назывался один из очерков об Иваново Ф.Д. Нефедова.

С. Рыскин одним из первых создал стихи, в которых отразилась *противоестественность* иваново-вознесенской действительности.

Манчестера русского трубы дымят, —
И дым пеленою тяжелой
Скрывает усталого солнца закат
За близкою рощей сосновой.

Не видно солнца в черном городе. А без солнца погибает все живое. И поэзия без него невозможна. Но тот же Рыскин доказывает другим своим стихотворением, что поэзия существует вопреки самым противоестественным обстоятельствам. Речь идет о замечательном стихотворении «Удалец», преобразованном впоследствии во всенародно известную песню «Живет моя отрада...». Эта песня и сейчас воспринимается как символ раздольности русской души. Она готова ради любимой проникнуть в самый высокий терем: «Была бы только ночка сегодня потемней!..»

Можно сказать, что стихи Рыскина стали своеобразным камертоном ивановской поэзии, отличительной особенностью которой становится *вопрекизм*, сочетание несочетаемого. И есть своя логика в том, что Константин Бальмонт, первый поэт Серебряного века, родился именно в шуйско-ивановском крае. Сотканное из противоречивых мигнов, бальмонтовское творчество как бы впитало в себя диссонансы той земли, где проходили детство и юность поэта. В самих названиях первых стихотворных сборников Бальмонта «Под северным небом» (1894), «В безбрежности» (1895) отражается конфликт, определивший все его последующее творчество: родной дом и душа, устремленная в неизвестность. Душа под *северным небом* ищет *безбрежности*. И, казалось бы, мечта эта в конце концов осуществилась. Шуйский Бальмонт становится *стихийным гением*, космополитом Бальмонтом. Он «для всех и ничей». Он — дитя Солнца, которое могло бы родиться где-нибудь «в ущелье, под Сиеррою-Невадой» или еще в каком-нибудь экзотическом месте... Но можно ли путь Бальмонта ограничить только этой метафористической формулой: от северного неба в безбрежность? Нет, конечно. Вопреки собственным многочисленным декларациям, Бальмонт даже в пору высшего символистского взлета не переставал возвращаться мысленно к своим любимым Гумнищам, где он родился, не забывал о своих шуйских истоках.

Войди на закате, как в свежие волны,
В прохладную глушь деревенского сада, —
Деревья так сумрачно-странно-безмолвны.
И сердцу так грустно, и сердце не радо.

Как будто душа о желанном просила,
И сделали ей незаслуженно больно.
И сердце простило, но сердце застыло,
И плачет, и плачет, и плачет невольно.

Вот вам и астральный, «заморский» Бальмонт! Такие стихи мог написать поэт, чья память о родине не только не слабела, но с годами становилась все более душевно напряженной. В эмиграции эта память стала непереносимым страданием. «В русской диаспоре, – пишет американский славист В. Крейд, – не было, пожалуй, другого, кроме Бальмонта, поэта, для которого физическая изоляция от страны своего языка и детства, первых литературных шагов и последующего признания, от знакомого читателя и от род¹.

Наш край вписан в Серебряный век русской поэзии не только благодаря творчеству К. Бальмонта. В шуйскую землю уходят родовые корни М. Цветаевой. Без этих корней не было бы гениальной поэтессы, в чем неоднократно признавалась сама Марина Ивановна. «Оттуда – из села Талицы, близ города Шуи, наш цветаевский род, – писала она в «Истории одного посвящения». – Священнический. Оттуда... мои поэмы по две тысячи строк и черновики к ним – в двадцать тысяч... Оттуда – сердце... несущее меня вскачь в гору две версты подряд... Пешее сердце всех моих лесных предков от деда о. Владимира... Оттуда (село Талицы Владимирской губернии, где я никогда не была), оттуда – все».

Между прочим, стараниями ивановских краеведов развеян миф о том, что поэтическое дарование М. Цветаевой идет исключительно со стороны матери; от отца – только трудолюбие. Иван Владимирович Цветаев был по-своему натурой художественно одаренной. Об этом свидетельствуют его книга «Путешествие по Италии», дневники, письма. Созданный им Музей изящных искусств – это не только акция серьезного ученого, озабоченного возникновением еще одного научно-культурного центра. В Музее отразился порыв поэтической души, энтузиазм романтика, мечтающего сблизить современную Россию с великой эпохой Древней Греции.

Мы сочли необходимым включить в антологию стихи М. Цветаевой, в которых запечатлена благодарная память поэтессы отцовскому миру.

¹ Крейд В. Бальмонт в эмиграции // Бальмонт К. Где мой дом. М., 1992. С. 9.

Может быть, через пять поколений,
Через грозный разлив времен
Мир отметит эпоху смятений
И моим средь других имен.

Это желание Анны Барковой, кажется, сбылось, и ее имя «средь других имен» вызывает к тем, кому дорога истинная жизнь и поэзия.

* * *

К концу 1930-х годов в Иванове выросли несколько замечательных поэтов, чьи имена навсегда войдут в историю поэтического поколения фронтовиков. Первыми из них надо назвать Алексея Лебедева и Николая Майорова. Вслед за ними – Михаила Дудина, Владимира Жукова.

Этим поэтам было суждено продолжить начатое ивановской поэзией в первые годы революции, в начале 1920-х годов. В их творчестве ощущается тот же романтический напор, желание увидеть жизнь в ее стремлении к прекрасному будущему. Надо только вложить в это стремление всю душу свою, а если потребуется – и жизнь отдать за него. Такой максимализм продиктован во многом самим временем, в котором выросло новое поколение поэтов. Однако нельзя не принимать в расчет и родной дом, откуда вышли в большой мир молодые романтики конца 30-х – начала 40-х годов XX века.

Вероятно, есть своя закономерность в том, что город, который, по сути, никогда не становился собственно фронтовой территорией, дал целую плеяду поэтов военной судьбы, сумевших одними из первых расслышать раскаты грядущей грозы. Может быть, и здесь проявился своего рода «вопрекизм»? В самом деле, кто бы мог подумать, что мирное, сухопутное Иваново пошлет на флот одного из своих парней и тот станет певцом моря, в чьих стихах отзовется любая малость военно-морской службы. Да, я говорю об Алексее Лебедеве, который с восторгом воспевал корабельный чайник, бескозырку, морскую службу радистов, метеорологов и многое, многое другое, имеющее отношение к флоту.

К сожалению, исходя из этой «производственной» оснастки поэзии, в какой-то момент критика ограничила представление о поэтическом творчестве А. Лебедева, сведя его к ведомственному морскому творчеству. Конечно, звучит красиво – *поэт-маринист*, но есть в этом определении и нечто обидное для того, кто, посвятив свою поэзию морской тематике, в лучших своих стихах пред-

стает поэтом в полном смысле этого слова, поэтом, продолжающим традиции таких славных «балладников», какими были, например, Р. Киплинг и Н. Гумилев. Конечно, эти традиции выверялись во многом на советский лад и сегодня легко найти в творчестве Лебедева классицистическую прямолинейность, одическую упрощенность, но все-таки присутствие большой поэзии, большой незаурядной личности в лучших произведениях А. Лебедева вне сомнения¹. Перечитывая их, мы открываем не только романтику морской службы, но и глубины духовной жизни человека, связанного с ней. Самое пронзительное здесь – предчувствие трагедии общей и личной.

Лежит матрос на дне песчаном
Во тьме зелено-голубой.
Над разъяренным океаном
Отгромыхал короткий бой.
А здесь ни грома и ни гула.
Скользнув над илистым песком,
Коснулась сытая акула
Щеки матросской плавником...
Осколком легкие пробиты,
Но в синем мраке глубины
Глаза матросские открыты
И прямо вверх устремлены...

Открытые глаза матроса, смотрящие на нас из глубины... Надо быть Поэтом, чтобы создать такой потрясающий образ.

Сейчас нередко можно услышать о том, что предвоенная молодая поэзия «юношей 41-го года», а далее – фронтовая поэзия развивались под знаком большевистского догматизма, служения Сталину и т.д. Смею утверждать, что лучшее в этой поэзии ни в какие догматы не укладывается. Поэты фронтовой судьбы изначально выражали драматизм, потаенный трагизм новой российской действительности.

С детства в них жила мечта о социально справедливой жизни, где мудрое государство рабочих и крестьян дает возможность человеку достигнуть высот мировой культуры и стать по-настоящему свободной личностью. Они создавали по-своему прекрасный миф о поколении, призванном защитить мир от зла и насилия. Они мечтали, «всей планете делая погоду», одеть в плоть слово «человек» (см. стихотворение Н. Майорова «Мы»). При этом молодые романтики 1940-х годов были пленниками многих соци-

¹ См. об этом: Щасная Л. Неоплатимый счет. Иваново, 2003.

альных иллюзий своего времени. Они не допускали мысли, что государство их обманывает. Ненавидя Гитлера, они верили в Сталина. И в то же время эти ребята на каждом шагу вступали в противоречие со сталинщиной, а позже с другими официально-государственными представлениями о жизни, так как с самого начала и до конца оставались верными высоким *человеческим* критериям своей поэзии.

Николаю Майорову удалось глубже, чем кому-либо другому, передать неукротимый дух тогдашней молодости, напомнить о том, что поэтическое явление непредсказуемо, что оно сродни природе, неожиданной, яростной, прекрасной.

Есть у Майорова стихотворение «Торжество жизни». Сюжет его драматичен. Гибнет летчик: «Хотел он взмыть, но силу птицы презрели небо и простор». Проходит время, и новый смельчак поднимается в высоту:

И пахла юностью побеги
Ветвей. Прорезав тишину,
Другой пилот в крутом разбеге
Взмыл в голубую вышину.

Мир был по-прежнему огромен,
Прекрасен, радужен, цветист;
И с человеческим сердцем вровень
На ветке бился первый лист.

И, не смущаясь пепла, тлена,
Крушенья дерзостной мечты,
Вновь ликовала кровь по венам
В упорной жажде высоты!

Майоров похож на героя этого стихотворения. Он, в сущности, и был молодым летчиком предвоенной поэзии, который возвращал в своих стихах то, что хотел забыть, сгладить, обтесать жестокий век.

В майоровской поэзии возрождалась память о «красивом, двадцатидвухлетнем» Маяковском, отвергающем казенное мироустройство. В его поэзии оживало «половодье чувств» Есенина. Он был готов отдать горькую сладость любви «за четыре строчки Пастернака». В поэзии Майорова получали продолжение традиции опального Павла Васильева...

Почему же именно ему, Майорову, мальчику с окраины рабочего города, выпала высокая участь стать хранителем истинной поэзии? Почему именно Майоров стал тем «шальным трубачом»,

о котором он так проникновенно написал в своем стихотворении «Мы»? Если бы можно было ответить на такого рода вопросы, то, наверное, поэтическое творчество кончилось бы. Поэзия – чудо, и знать таинство ее происхождения невозможно. И все же неслучайно один из лучших предвоенных поэтов родился в Иванове. Ивановский дом Майоровых оказался как бы на пересечении изначального деревенского пути России с ее дальнейшей городской судьбой. В стихах молодого поэта это пересечение обретает особый символический смысл.

Майоров навсегда останется верен просторному дому детства, где он «прошел большой, нескладный и удивительно прямой». Здесь ему пришлось впервые услышать «посвист праздничной травы», здесь он разглядел «красные, в прожилках, кулаки» мужиков, чьим трудом крепятся главные дела на земле. При этом Майоров отнюдь не был склонен идеализировать свою малую родину. Он знал ее слабости: сонную апатию, унылое однообразие провинциальных будней. Своим явлением лирический герой Майорова словно и был призван расширить границы отчего дома, соединить природное начало с миром великой культуры: земля тянется к небу, а небо – к земле.

Нельзя согласиться с теми, кто хотел бы списать майоровскую поэзию по части исключительно книжной романтики. Настоящая, а не придуманная жизнь бьется в его стихах. Не умирать он пришел в этот мир, а, говоря пушкинскими словами, «мыслить и страдать». Но Майоров был поэтом. Поэты же лучше других чувствуют гул надвигающейся трагедии.

Для Майорова война началась не в сорок первом. За год до трагического июня он писал: «А ныне вновь война и порох // Вошли в большие города...» Поэт чувствовал, что его поколению предстоит страшное испытание, и готовился к нему. Жил страстной, напряженной духовной жизнью, писал стихи, в которых пытался постигнуть главное.

А он глядел во все глаза
на мир из света и воды.
В слух уходил – звенит роса,
скрипят на веточках плоды.

<...>

Он был средь нас добрее всех,
умнее всех, прямее всех,
а в день повесток – в трудный день –
еще к тому ж – смелее всех.

Эти стихотворные строки о Майорове принадлежат Владимиру Жукову – поэту, который сделал все, чтобы не изгладилась память о тех, кто погиб во имя жизни на земле. Кто-кто, а Жуков знал цену Победе: две войны, советско-финская и Великая Отечественная, остались у него за плечами. Он на собственном опыте познал, что такое «солдатская слава». А слава эта, как сказано в его «Пулеметчике», – «опасная и страшная работа. // Не вздумайте взглянуть со стороны».

Жуков – поэт «окопной правды», той правды, которую несли в себе миллионы простых людей, защитивших отчизну. Большая часть их не вернулась домой. Как они жили? Что чувствовали в окопе, в бою? Владимир Жуков рассказал об этом в своих стихах с предельной честностью:

Почти минута до сигнала,
а ты уже полуприсел.
Полупривстала рота. Встала.
Полупригнулась. Побежала...
Кто – до победного привала,
кто в здравотдел, кто в зомотдел.

(«Атака»)

Чтобы написать такие стихи, надо было увидеть, почувствовать войну изнутри. Надо было вобрать в себя этот страшный миг атаки, сделать его психофизической клеткой поэтического организма.

В своем творчестве Жуков с редкой настойчивостью доказывал, что солдат – это не механическое звено в военной машине, а *личность*, человек, *преодолевающий* слепую, тупую власть войны. Какие замечательные стихи о любви писал он в то жестокое время! Как свеж и застенчиво радостен подснежник, выросший на краю окопа, в одном из военных стихотворений В. Жукова!

Двойное пространство в его послевоенной поэзии продиктовано желанием вместить в сегодняшний день то, что было *там*: кювет, укывший от огня, выжженные травы, окопчики и переправы... Природа этой памяти еще не до конца осмыслена нами. Здесь ведь не только присяга на верность ушедшим солдатам, но и стремление через эту память спасти себя и живущих рядом...

Жуков не был бы Жуковым, если бы не вернул своей поэзией голоса и лица друзей, не обозначил их *живое* присутствие после их гибели. По существу, поэт и его собратья по перу тем самым утверждали правоту центральных христианских идей (и сейчас неважно, кто из них при этом носил в кармане партийный билет, а кто – нет). Философской основой лучшего, что создали «фрон-

товики», становится отрицание забвения, и как следствие – восхождение добра, поруганной красоты, помянутого слова. А еще здесь мы видим невозможность жить вне родины, без того, что корнями уходит в быт и бытие предков, в глубины русской природы. Поэтому так сокровенно в стихах Жукова наше Иваново, сам снег вокруг него:

Подступили сугробы к перрону
и застыли у жарких колес.
Оступись же с подножки вагона
в тишину этих белых берез.

Были ли в поэзии Жукова отступления от основной духовной магистрали? Были. Он сам честно признавался в этом (вспомним, например, стихотворение «Моему Пегасу»). Более того, тема внутреннего пересмотра жизни, мотив собственной вины за то, что произошло со страной, выходит на передний план в его последних стихах. В них много боли, сердечной муки, но главное здесь все-таки другое – умение честно, мужественно взглянуть в лицо жизни, какой бы страшной она ни была.

Владимир Жуков всегда чувствовал поддержку со стороны своих друзей-поэтов. Особенно дорожил он дружбой с Михаилом Дудиным – дружбой длиною в жизнь. Дудин же, в свою очередь, видел в Жукове, как и в других ивановцах, не просто земляка, но ощущал через него свое первородное начало.

Военная судьба, казалось бы, навсегда развела Дудина с родным краем. Он был среди защитников полуострова Ханко, блокадного Ленинграда, а затем стал жить в этом городе. Но складывается впечатление, что чем больше территориально отдалялся Дудин от родных мест, тем ближе душой становился он им.

В первой «ивановской» книжке «Ливень» (1940) родина предстает нередко в политизированно-пропагандистском виде: Иваново – город несгибаемых революционеров. В дальнейшем родной край становится для Дудина родником, приобщение к которому помогает преодолеть непреодолимое. Так было во время войны.

Критиками подробно прослежен творческий путь М. Дудина, обозначены основные этапы его творчества. Но хотелось бы подчеркнуть следующее: как бы ни менялся Дудин во времени, в главном он оставался самим собой.

Откроем страницу дудинской книги лирической прозы «Поле притяжения»:

«Все в мире перемелется, –
Останется любовь! –

Николай МАЙОРОВ

(1919–1942)

Николай Петрович Майоров родился в деревне Дуровке Сызранского уезда Симбирской губернии. Через полгода семья вернулась на родину отца — в деревню Павликово Гусевского уезда Владимирской губернии, где прошло детство поэта. В 1929 году семья Майоровых переехала в Иваново-Вознесенск. Николай Майоров закончил ивановскую 33-ю среднюю школу (ныне это школа № 26 им. Д.А. Фурманова). В 1937 году поступил на исторический факультет Московского университета. Входил в литературную группу при газете «Московский университет», посещал семинары в Литературном институте им. А.М. Горького. В начале Великой Отечественной войны добровольцем уходит на фронт. Погиб 8 февраля 1942 года в Смоленской области. При жизни печатался в университетской многотиражке и в сборнике «Парад молодости» (М., 1940). Посмертно изданы книги: «Мы» (М., 1962), «Мы были высоки, русоволосы» (Ярославль, 1969). Стихи Майорова вошли в коллективные сборники: «Сквозь время» (М., 1964), «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне» (М.; Л., 1965), «Имена на поверке» (М., 1972) и др.

Мы

Это время —

трудновато для пера...

В. Маяковский

Есть в голосе моем звучание металла.
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.
Не все умрет. Не все войдет в каталог.
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли.
Мы жгли костры и вспять пускали реки.

Нам не хватало неба и воды.
Упрямой жизни в каждом человеке
Железом обозначены следы —
Так в нас запали прошлого приметы.
А как любили мы — спросите жен!
Пройдут века, и вам солгут портреты,
Где нашей жизни ход изображен.
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли не долубив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.
Но время шло. Меняли реки русла.
И жили мы, не тратя лишних слов,
Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных
Да в серой прозе наших дневников.
Мы брали пламя голыми руками.
Грудь раскрывали ветру. Из ковша
Тянули воду полными глотками
И в женщину влюблялись не спеша.
И шли вперед, и падали, и, еле
В обмотках грубых ноги волоча,
Мы видели, как женщины глядели
На нашего шального трубача.
А тот трубил, мир ни во что не ставя
(Ремень сползал с покатога плеча),
Он тоже дома женщину оставил,
Не оглянувшись даже сгоряча.
Был камень тверд, уступы каменисты,
Почти со всех сторон окружены,
Глядели вверх — и небо было чисто,
Как светлый лоб оставленной жены.
Так я пишу. Пусть неточны слова,
И слог тяжел, и выраженья грубы!
О нас прошла всесветная молва.
Нам жажда зноем выпрямила губы.

Мир, как окно, для воздуха распахнут,
Он нами пройден, пройден до конца,
И хорошо, что руки наши пахнут
Угрюмой песней верного свинца.
И как бы ни давили память годы,
Нас не забудут потому вовек,
Что, всей планете делая погоду,
Мы в плоть одели слово «Человек»!

1940

Август

Я полюбил весомые слова,
Просторный август, бабочку на раме
И сон в саду, где падает трава
К моим ногам неровными рядами.

Лежать в траве, желтеющей у вишен,
И низких яблонь, — где-то у воды,
Смотреть в листву прозрачную
И слышать,
Как рядом глухо падают плоды.

Не потому ль, что тени не хватало,
Казалась мне вселенная мала?
Движения замедленны и вялы,
Во рту иссохло. Губы как зола.

Куда девать сгорающее тело?
Ближайший омут светел и глубок —
Пока трава на солнце не сгорела,
Войти в него всем телом до предела
И ощутить подошвами песок!

И в первый раз почувствовать так близко
Прохладное спасительное дно —
Вот так, храня стремление одно,

Вползают в землю щупальцами корни,
Питая щедро алчные плоды
(А жизнь идет!), – все глубже и упорней
Стремление пробиться до воды,
До тех границ соседнего оврага,
Где в изобилье, с запахами вин,
Как древний сок, живительная влага
Ключами бьет из почвенных глубин.

Полдневный сон под яблонями тает
На сизых листьях теплой лебеды.
И слышу я, как мир произрастает
Из первозданной матери – воды.

1939

Творчество

Есть жажда творчества,
Уменье созидать,
На камень камень класть,
Вести леса строений.
Не спать ночей, по суткам голодать.
Вставать до звезд и падать на колени.
Остаться нищим и глухим навек,
Идти с собой, с своей эпохой вровень
И воду пить из тех целебных рек,
К которым прикоснулся сам Бетховен.
Брать в руки гипс, склоняться на подрамник,
Весь мир вместить в дыхание одно,
Одним мазком весь этот лес и камни
Живыми положить на полотно.
Не дописав,
Оставить кисти сыну,
Так передать цвета своей земли,
Чтоб век спустя все так же мяли глину
И лучшего придумать не смогли.

1940

На родине

Там не ждут меня сегодня и не помнят.
Пьют чай. Стареют. Свято чтут
Тесноту пропахших пылью комнат,
Где мои ровесники растут,
Где, почти дверей плечом касаясь,
Рослые заходят мужики
И на стол клеенчатый бросают
Красные, в прожилках, кулаки.
В дымных, словно баня, плошках
Мать им щи с наваром подает.
Мухи бьют с налета об окошко.
Кочет песни ранние поет.
Только в полдень отлетевшим залпом,
Клочьями оборванного сна,
Будто снег на голову, внезапно
Падает на окна тишина.
Пахнут руки легкою ромашкой.
Спишь в траве и слышишь: от руки
Выползают стайкой на рубашку
С крохотными лапками жуки.
Мир встает такой неторопливый,
Весь в цветах, глубокий, как вода.
Даже слышно вечером, как в нивы
Первая срывается звезда.
Людам не приснится душный город,
Крик базара, ржанье лошадей,
Ровное теченье разговора...
Люди спят. Распахнут резко ворот.
Мерное дыхание грудей.
Спят они, раскинув руки-плети,
Как колосья без зерна, легки.
Густо лиловеют на рассвете
Вскинутые кверху кадыки.
Видят сны до самого рассвета
И по снам гадают —
Так верней —
Много ль предстоящим летом

Благодатных выпадет дождей?
Я запомнил желтый подоконник,
Рад тому, что видеть привелось,
Как старик, изверившись в иконе,
Полщепотки соли на ладони
Медленно и бережно пронес.
Будет дождь: роняют птицы перья
Из пустой, далекой синевы.
Он войдет в косые ваши двери
Запахом немолкнувшей травы,
Полноводьем, отдыхом в работе,
С каждым часом громче и свежей.
Вы его узнаете в полете
Небо отвергающих стрижей,
В бликах молний и в гуденье стекол,
В цвете неба, в сухости ракии,
Даже в том, как торопливо сокол
Мимо ваших окон пролетит.

1938

* * *

Брату Алексею

Ты каждый день уходишь в небо,
А здесь – дома, дороги, рвы,
Галдеж, истошный запах хлеба
Да посвист праздничной травы.

И как ни рвусь я в поднебесье,
Вдоль стен по комнате кружа,
Мне не подняться выше лестниц
И крыш восьмого этажа.

Земля, она все это помнит,
И хоть заплачь, сойди с ума,
Она не пустит дальше комнат,
Как мать, ревнива и пряма.

Я за тобой закрою двери,
Взгляну на книги на столе,
Как женщине, останусь верен
Моей злопамятной земле.

И через тьму сплошных догадок
Дойду до истины с трудом,
Что мы должны сначала падать,
А высота придет потом.

Нам ремесло далось не сразу –
Из тьмы неверья, немоты
Мы пробивались, как проказа,
К подножью нашей высоты.

Шли напролом, как входят в воду:
Жизнь не давалась, но ее,
Коль не впрямую, так обходом
Мы все же брали, как свое.

Куда ни глянь – сплошные травы,
Любая боль была горька.
Для нас, нескладных и упрямых,
Жизнь не имела потолка.

1939

Что значит любить

Идти сквозь вьюгу напролом.
Ползти ползком. Бежать вслепую.
Идти и падать. Бить челом.
И все ж любить ее – такую!
Забыть про дом и сон,
Про то, что
Твоим обидам нет числа,
Что мимо утренняя почта
Чужое счастье пронесла.

Забыть последние потери,
Вокзальный свет,
Ее «прости»
И кое-как до старой двери,
Почти не помня, добрести,
Войти, как новых драм зачатые.
Нащупать стены, холод плит...
Швырнуть пальто на выключатель,
Забыв, где вешалка висит.
И свет включить. И сдвинуть полог
Крамольной тьмы. Потом опять
Достать конверты с дальних полок,
По строчкам письма разбирать.
Искать слова, сверяя числа.
Не помнить снов. Хотя б крича,
Любой ценой дойти до смысла.
Понять и сызнова начать.
Не спать ночей, гнать тишину из комнат,
Сдвигать столы, последний взять редут,
И женщин тех, которые не помнят,
Обратно звать и знать, что не придут.
Не спать ночей, недосчитаться писем,
Не чтить посулов, доводов, похвал
И видеть те неснившиеся выси,
Которых прежде глаз не достигал, –
Найти вещей извечные основы,
Вдруг вспомнить жизнь.
В лицо узнать ее.
Прийти к тебе и, не сказав ни слова,
Уйти, забыть и возвратиться снова.
Моя любовь – могущество мое!

1939

Апрель

Ту улицу Московской называли.
Она была, пожалуй, не пряма,
Но как-то по-особому стояли

Ее простые, крепкие дома,
И был там дом с узорчатым карнизом.
Купалась в стеклах окон бирюза.
Он был насквозь распахнут и пронизан
Лучами солнца, бьющими в глаза.
По вечерам – тягуче, неумело
Из-под шершавой выгнутой руки
Шарманка что-то жалостное пела –
И женщины бросали пятаки.
Так детство шло.
А рядом, на базаре,
Народ кричал. И фокусник слепой
Проглатывал ножи за раз по паре.
Вокруг – зеваки грудились толпой.
Весна плыла по вздыбившимся лужам.
Последний снег – темнее всяких саж –
Вдруг показался лишним и ненужным
И портившим весь уличный пейзаж.
Его сгребли. И дворники, в холстовых
Передниках, его свезли туда,
Где третий день неистово, со стоном
Ломала льдины полая вода.

1937

Тебе

Тебе, конечно, вспомнится несмелый
и мешковатый юноша,
когда
ты надорвешь конверт армейский белый
с «осьмушкой» похоронного листа...

Он был хороший парень и товарищ,
такой наивный, с родинкой у рта.
Но в нем тебе не нравилась
одна лишь
для женщины обидная черта:

он был поэт, хотя и малой силы,
но был,
любил
и за строкой спешил.
И как бы ты ни жгла

и ни любила, —
так, как стихи, тебя он не любил.
И в самый крайний миг перед атакой,
самим собою жертвуя, любя,
он за четыре строчки Пастернака
в полубреду, но мог отдать тебя!

Земля не обернется мавзолеем.
Прости ему: бывают чудачки,
которые умрут, не пожалев,
за правоту прихлынувшей строки.

1940—1941

* * *

Нам не дано спокойно сгнить в могиле —
Лежим навтыжку и, приоткрыв гробы,
мы слышим гром предутренней пальбы,
призыв охрипшей полковой трубы
с больших дорог, которыми ходили.

Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
и ждем приказа нового. И пусть
не думают, что мертвые не слышат,
когда о них потомки говорят.

1941

